

Глава I. Годы учения эмпирика-скептика

Анатомия Черного лебедя. — Триада затмения. — Как читать книги задом наперед. — Зеркало заднего вида. — Все объяснимо. — Всегда говорите с водителем (только осторожно). — История не ползет, скачет. — *"Это было так неожиданно"*. — *Спать двенадцать часов*

Это не автобиография, поэтому я пропущу военные сцены. Вообще-то я пропустил бы военные сцены, даже если бы это была автобиография. Мне не переплюнуть ни боевики, ни мемуары знаменитых искателей приключений. Уж лучше я сосредоточусь на своей сфере — случае и неопределенности.

АНАТОМИЯ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ

На протяжении более тысячи лет на Восточном Средиземноморском побережье, известном как *Syria Lebanonensis*, или Горы Ливанские, умудрялись уживаться не менее дюжины разных сект, народностей и вер — чудо, да и только. Это место имело больше общего с главными городами Восточного Средиземноморья (называемого также Левантом), нежели с континентальным Ближним Востоком (плавать на корабле было легче, чем лазить по горам). Левантийские города были по природе своей торговыми. Между горожанами — в частности, представителями различных общин — существовали строго упорядоченные деловые отношения, для поддержания которых требовался мир. Это спокойное тысячелетие омрачалось лишь небольшими случайными трениями *внутри* мусульманских и христианских общин и крайне редко — между христианами и мусульманами. В противовес торговым и, по сути, эллинизированным городам, горы были заселены всевозможными религиозными меньшинствами, скрывавшимися, по их уверениям, от византийских и мусульманских ортодоксов. Гористая местность — идеальное убежище для тех, кто не приемлет общего устава; разве что у тебя появляется новый недруг — другой беженец, претендующий на тот же клочок скалистой недвижимости. Здешняя мозаика культур и религий, в которой перемешались христиане всех мастей (марониты, армяне, приверженцы сирийского православия, даже греко-католики вдобавок к горстке римских католиков, оставшихся после Крестовых походов), мусульмане (шииты и сунниты), друзья и немногочисленные иудеи, долго считалась примером того, как должны сосуществовать люди. То, что жители этого региона научились терпимости, уже воспринималось как аксиома. Я помню, в школе нам объясняли, насколько мы цивилизованнее и мудрее, чем обитатели Балкан, которые не только редко моются, но и беспрестанно грызутся между собой. Казалось, что мы находимся в состоянии стабильного равновесия, обусловленного историческим тяготением к прогрессу и терпимости. Слова "баланс" и "равновесие" звучали постоянно.

Мои предки и по материнской и по отцовской линии принадлежали к сирийско-православной общине — последнему форпосту Византии в Северной Сирии, которая включала в себя то, что сейчас называется Ливаном. Заметьте, что византийцы называли себя римлянами — *Roumi* (множественное число от *Roum*) в местной интерпретации. Мы происходим из района оливковых рощ у подножия ливанских гор. Мы вытеснили в горы христиан-маронитов в знаменитой битве при Амиуне (откуда и вышел наш род). Со времен вторжения арабов в VII веке мы жили с мусульманами во взаимовыгодном мире, лишь изредка тревожимые ливанскими горными маронитами. В результате некоего хитроумного договора между арабскими правителями и византийскими императорами мы ухитрились платить налоги обеим сторонам и пользоваться защитой и тех и других. Так нам удалось прожить спокойно и без больших

кровопролитий почти тысячу лет: нашей последней серьезной проблемой были крестоносцы, а вовсе не арабы-мусульмане. Арабы, интересовавшиеся, похоже, только войной (и поэзией), а позже оттоманские турки, помышлявшие, похоже, лишь о войне (и утехах), предоставляли нам заниматься скучной торговлей и совсем уж безобидной наукой (например, переводом арамейских и греческих текстов).

Страна под названием Ливан, в которой мы внезапно очутились после падения Оттоманской империи в начале XX века, со всех точек зрения представлялась стабильным раем; кроме того, ее граница была проведена так, чтобы большинство населения составляли христиане. И тут люди вдруг загорелись идеей единого национального государства^[8]. Христиане убедили себя, что они находятся у истоков и в центре так называемой западной культуры, но при этом — с окном на Восток. Оставаясь в шаблонных рамках статичного мышления, никто не принимал во внимание разницу в уровне рождаемости внутри общин; считалось, что небольшое численное превосходство христиан сохранится навсегда. А ведь благодаря тому, что левантинцы в свое время получили римское гражданство, апостол Павел — сириец — получил возможность свободно путешествовать по всему миру. И теперь люди потянулись к вещам, к которым их неудержимо влекло; страна с изысканным стилем жизни, процветающей экономикой, умеренным климатом (как в Калифорнии), с вознесшимися над теплым морем снежными вершинами гостеприимно распахнула свои двери для всех. Туда устремились шпионы (и советские, и западные), проститутки (блондинки), писатели, поэты, наркодилеры, искатели приключений, игроки, теннисисты, горнолыжники, негоцианты — словом, представители смежных профессий. Многие из них вели себя, как герои первых фильмов про Джеймса Бонда или современные им плейбои, которые пили, курили и походам в тренажерный зал предпочитали встречи с хорошими портными.

Главный атрибут рая — вежливые таксисты, — говорят, был налицо (хотя я не припомню, чтобы они вежливо обходились со мной). Впрочем, кому-то все прошлое видится в розовых тонах.

Я не вкусил радостей местной жизни, так как с ранних лет заделался идеалистом-бунтарем и воспитал в себе аскета, которого буквально корежило от кичливого богатства, от откровенной левантийской тяги к роскоши и от одержимости деньгами.

Когда я был подростком, мне не терпелось переехать в большой город, где джеймсы бонды не пугаются под ногами. Но я помню: в интеллектуальной атмосфере было нечто особенное. Я посещал французский лицей, чей *бакалавриат* (аттестат зрелости) мог тягаться с лучшими из полученных во Франции, даже в отношении французского языка. Там преподавали чистейший французский: как в дореволюционной России, левантийские аристократы христианской и иудейской веры от Стамбула до Александрии говорили и писали на классическом французском — языке "избранных". Особо привилегированных отправляли учиться во Францию, как, например, обоих моих дедушек: папиного отца и моего тезку — в 1912 году, и отца моей матери — в 1929-м. Две тысячи лет назад, повинувшись тому же инстинкту "самовыделения", знатные левантийские снобы писали на греческом, а не на народном арамейском. (Новый Завет был написан на скверном подобию греческого, изобретенном нашей столичной, антиохийской, знатью и заставившем Ницше воскликнуть: "Бог очень дурно изъяснялся по-гречески!") А после заката эллинизма они перешли на арабский. Так что наш край называли не только раем, но и уникальным перекрестком того, что весьма приблизительно величают восточной и западной культурами.

Мой характер окончательно сформировался, когда меня, пятнадцатилетнего юнца, посадили в тюрьму за то, что во время студенческих волнений я (якобы) замахнулся на полицейского куском асфальта. Ситуация была специфическая, поскольку мой дед в тот момент занимал пост министра внутренних дел и именно он подписал приказ о подавлении нашего бунта. Одного из бунтовщиков застрелили, когда полицейскому угодил в голову камень и он в панике открыл беспорядочный огонь. Я помню, что был в числе заводил и прямо-таки возликовал, когда меня схватили, в то время как мои друзья страшно боялись ареста и реакции своих родителей. Мы так сильно напугали правительство, что нас быстро отпустили.

Я явно выиграл, продемонстрировав свою способность биться за принцип, не отступая ни на шаг ради спокойствия или "удобства" других. Я впал в дикую ярость, и мне было плевать на то, что обо мне думают мои родители (и дед). Это заставило их опасаться *меня*, поэтому я уже не мог пойти на попятный и даже просто дрогнуть. Если бы я не объявил с вызовом о своем участии в волнениях, а умолчал о нем (как сделали многие мои друзья) и был бы потом выведен на чистую воду, то наверняка превратился бы в мальчика для битья. Одно дело — шокировать общество вызывающими прикидами и совсем другое — доказать свою готовность претворять убеждения в действия.

Моего дядю по отцу не слишком волновали мои политические взгляды (они приходят и уходят); его возмущало, что я использовал их как предлог для того, чтобы кое-как одеваться. Небрежно одетый родственник травмировал его чувства.

Объявив о своем аресте, я убил еще одного зайца: избавил себя от необходимости демонстрировать обычное подростковое бунтарство. Я сообразил, что гораздо выгоднее быть "разумным" пай-мальчиком после того, как ты уже доказал способность действовать, а не только болтать. Можно позволить себе образцовое поведение, если в нужном случае, когда этого меньше всего от тебя ожидают, ты явишься с обвинением в суд или изобьешь врага — просто чтобы показать, что ты человек дела.

Расстрелянный "рай"

Ливанский "рай" рухнул внезапно—хватило нескольких пуль и снарядов. Через несколько месяцев после моего краткого заточения — и после почти тринадцати столетий уникального этнического сосуществования — Черный лебедь, взявшийся неведь откуда, превратил страну из рая в ад. Началась яростная гражданская война между христианами и мусульманами, к которым присоединились палестинские беженцы. Мясорубка была чудовищная, потому что бои велись в центре города, прямо в жилых кварталах (моя школа находилась в нескольких сотнях футов от театра военных действий). Конфликт продолжался больше полутора десятилетий. Я не буду его подробно описывать. Наверно, появление огнестрельного оружия и прочих мощных средств ведения войны превратило то, что в эпоху меча и шпаги ограничилось бы парой стычек, в спираль бесконтрольного вооруженного "око за око".

Не ограничившись физическими разрушениями (последствия которых несложно было устранить при помощи предприимчивых подрядчиков, подкупленных политиков и наивных акционеров), война почти напроць снесла тот флёр утонченности, благодаря которому левантийские города на протяжении трех тысячелетий оставались центрами интенсивной интеллектуальной жизни. Христиане покидали эти края с османских времен; те, что переехали на Запад, взяли себе западные имена и смешались с тамошним населением. Их исход ускорился. Число культурных людей сократилось, упав ниже определенного критического уровня. В стране образовался вакуум. Утечку мозгов трудно восполнить, и прежняя культура, возможно, утрачена

Звездная ночь

Когда в следующий раз внезапно погаснет свет, *утешьте себя*, взглянув на небо. Вы его не узнаете. Во время войны в Бейруте часто отключали электричество. Пока люди не накопили генераторов, один кусок неба — благодаря отсутствию подсветки по ночам — был удивительно ясен: кусок над частью города, которая дальше всего отстояла от зоны военных действий. Люди, лишенные телевидения, съезжались посмотреть на сполохи ночных боев. Складывалось впечатление, что риск попасть под ракетный удар пугает их меньше, чем перспектива скучного вечера.

Звезды были очень ясно видны. В школе нам объясняли, что планеты находятся в состоянии *эквилибриума* — равновесия, поэтому нам не следует беспокоиться, что звезды вдруг начнут падать нам на головы. Мне это напомнило рассказы об "уникальной исторической стабильности" Ливана. Сама идея принимаемого за аксиому равновесия казалась мне порочной. Я смотрел на созвездия и не знал, чему верить.

ИСТОРИЯ И ТРИАДА ЗАТМЕНИЯ

История непроницаема. Имея налицо результат, вы не видите того, что дает толчок ходу событий, — их генератора. Вашему восприятию истории органически присуща неполнота, потому что вам не дано заглянуть внутрь ящика, разобраться в работе механизма. То, что я называю генератором исторических событий, не просматривается в самих событиях — так же как в деяниях богов не угадываются их намерения. Как говорится, неисповедимы пути Господни.

Подобный разрыв существует между блюдами, которые приносят вам в ресторане, и тем, что творится на кухне. (Когда я в последний раз обедал в одном китайском ресторане на Канал-стрит в центре Манхэттена, я увидел, как из кухни выходит крыса.)

Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, и я называю их *Триадой затмения*. Вот они:

- а) иллюзия понимания, или ложное убеждение людей в том, что они в курсе всего, происходящего в мире, — более сложном (или более случайном), чем им кажется;
- б) ретроспективное искажение, или наше природное свойство оценивать события только по прошествии времени, словно они отражаются в зеркале заднего вида (в учебниках истории история предстает более понятной и упорядоченной, чем в эмпирической реальности);
- в) склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть *"платонизируют"*.

Никто не знает, что происходит

Первый элемент триады — это патология мышления, по милости которой наш мир представляется нам более понятным, более объяснимым и, следовательно, более предсказуемым, чем это есть на самом деле.

Взрослые постоянно твердили мне, что война, которая в результате продолжалась около семнадцати лет, закончится "в считанные дни". Они были вполне уверены в этих своих прогнозах,

что подтверждается количеством беженцев, которые "пережидали войну" в гостиницах и прочих временных пристанищах на Крите, в Греции, во Франции. Один мой дядя говорил мне тогда, что, когда богатые палестинцы бежали лет тридцать назад в Ливан, они рассматривали этот шаг как *исключительно временный* (большинство из тех, кто еще жив, по-прежнему там; прошло шестьдесят лет). Но на мой вопрос, не растянется ли нынешний конфликт, он ответил: "Конечно нет. У нас здесь особое место; всегда было особым". Почему-то то, что он видел в других, к нему словно бы не относилось.

Подобная слепота — распространенная болезнь среди беженцев среднего возраста. Позже, когда я решил излечиться от одержимости своими корнями (корни изгнанников слишком глубоко врастают в их "я"), я стал изучать эмигрантскую литературу именно для того, чтобы не попасть в капкан всепоглощающей и навязчивой ностальгии. Эмигранты, как правило, становятся пленниками собственных идиллических воспоминаний — они сидят в компании других пленников прошлого и говорят о родине, вкушая традиционные блюда под звуки народной музыки. Они постоянно проигрывают в уме альтернативные сценарии, которые могли бы предотвратить их историческую трагедию — например: "если бы шах не назначил ту бездарь премьер-министром, мы и сейчас были бы дома". Словно исторический перелом имел конкретную причину и катастрофу можно было бы предотвратить, ликвидировав *ту* конкретную причину. Я с пристрастием допрашивал каждого вынужденного переселенца, с которым меня сводила жизнь. Почти все ведут себя одинаково.

Мы все наслышаны о кубинских беженцах, прибывших в Майами в 1960 году "на несколько дней" после воцарения режима Кастро и до сих пор "сидящих на чемоданах". И об осевших в Париже и Лондоне иранцах, которые бежали из Исламской республики в 1978-м, думая, что отправляются в короткий отпуск. Некоторые — четверть столетия спустя — все еще ждут момента, когда можно будет вернуться. Многие русские, покинувшие страну в 1917-м, например писатель Владимир Набоков, селились в Берлине, чтобы обратный путь не был чересчур уж далеким. Сам Набоков всю жизнь провел в съемных квартирах и номерах — сначала убогих, потом роскошных — и закончил свои дни в отеле "Монтре-Палас" на берегу Женевского озера.

Конечно, все беженцы ослеплены надеждой, но важную роль играет тут и проблема знания. Динамика ливанского конфликта была абсолютно непредсказуема, однако люди, пытавшиеся осмыслить ситуацию, думали практически одинаково: почти всем, кого волновало происходящее, казалось, что они прекрасно понимают, в чем суть дела. Каждый божий день случались неожиданности, опровергавшие их прогнозы, но никто не замечал, что они не были предсказаны. Многие события казались бы полным безумием в свете прошлого опыта. Но они уже не воспринимались как безумие *после того*, как происходили. Такая ретроспективная оправданность приводит к обесцениванию исключительных событий. Позже я сталкивался с той же иллюзией понимания в бизнесе.

История не ползет, а скачет

Проигрывая впоследствии в памяти события военных лет и формулируя свои идеи о восприятии случайных событий, я пришел к заключению, что наш разум — превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости. Тому, что тогда творилось, не было объяснения, но умные люди верили, что могут все убедительно объяснить — постфактум. Вдобавок, чем умнее человек, тем лучше звучит его объяснение. Еще печальнее то, что все эти мнения и комментарии не страдали отсутствием логики и нестыковками.

Я покинул край, называемый Ливаном, еще подростком, но поскольку там осталось множество моих родственников и друзей, я часто туда возвращался, особенно во время военных действий. Война не была перманентной: случались периоды мира, каждый раз заключавшегося "навечно". В тяжелые времена я в большей степени ощущал свои корни и старался почаще возвращаться, чтобы поддержать оставшихся, которые тяжело переживали каждый отъезд — и завидовали тем неверным друзьям, которые обрели экономическую и личную безопасность на чужбине и прилетали домой только в дни перемирий. Я не мог ни работать, ни читать вдали от Ливана, когда там гибли люди, но, едва оказавшись в Ливане, я удивительным образом отключался от реальности и предавался своим умствованиям, не испытывая никакого чувства вины. Интересно, что ливанцы бурно развлекались во время войны и их тяга к роскоши только усилилась.

Тут возникает несколько непростых вопросов. Как можно было предсказать, что народ, который казался образцом терпимости, в мгновение ока превратится в толпу варваров? Почему перемена оказалась столь резкой? Поначалу я думал, что ливанскую войну, в отличие от других конфликтов, и в самом деле невозможно было предсказать и что в левантинцах слишком много всего намешано, чтобы можно было разобраться в их мотивах. Потом, попытавшись вникнуть в суть всех великих исторических событий, я стал постепенно понимать, что подобная причудливость — не местная особенность моих соплеменников.

Левант был чем-то вроде массового производителя "судьбоносных" событий, которых никто не предвидел. Кто предсказал стремительный охват христианством всего средиземноморского бассейна, а позже — всего западного мира? Тогдашние римские хронисты вообще не обратили внимания на новую религию — историки христианства недоумевают, почему почти не осталось свидетельств современников. Мало кто из солидных людей принял еврея-еретика настолько всерьез, чтобы посчитать, что его идеи останутся в вечности. У нас есть единственное свидетельство того времени об Иисусе из Назарета — в "Иудейской войне" Иосифа Флавия, — да и то оно, возможно, вставлено позднейшим благочестивым переписчиком. А как насчет религии-соперницы, которая родилась семь столетий спустя? Кто предсказал, что скопище лихих конников за считанные годы раскинет свою империю и внедрит закон ислама от Индостана до Испании? Распространение ислама было еще более неожиданным, чем взлет христианства; многие историки сочли необъяснимой быстроту совершившихся тогда перемен. Жорж Дюби, например, изумлялся тому, как десять столетий левантийского эллинизма были уничтожены "одним ударом меча". Позже профессор той же кафедры истории в Коллеж де Франс, Поль Вейн, остроумно заявил, что религии расходились по миру, "как бестселлеры", подчеркнув этим сравнением непредсказуемость процесса. Подобные сбои в плавном течении событий не облегчают историкам жизнь: доскональное изучение прошлого мало что говорит нам о смысле Истории — оно лишь предлагает нам иллюзию понимания.

История и общества продвигаются вперед не ползком, а скачками. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же мы (и историки) предпочитаем верить в предсказуемые, мелкие, постепенные изменения.

Я вдруг осознал — и с этим ощущением живу с тех пор, — что мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекций, и что люди — великие мастера самообмана. С каждым годом моя уверенность в этом растет.

Дорогой дневник: обратное течение истории

События предстают перед нами в искаженном виде. Задумайтесь над природой

информации. Из миллионов, а может, даже триллионов мелких фактов, которые приводят к какому-либо событию, лишь считанные определяют впоследствии ваш взгляд на происшедшее. Поскольку ваши воспоминания ограничены и отфильтрованы, у вас в памяти застрянут только те данные, которые впоследствии свяжутся с фактами, если только вы не похожи на героя борхесовского рассказа "Фунес, чудо памяти", который не забывает ничего и обречен жить под бременем накопленной и необработанной информации. (Долгая жизнь ему не суждена.)

Вот как я впервые столкнулся с ретроспективным искажением. В детстве я был страстным, хотя и неразборчивым читателем; первый этап войны я провел в подвале, глотая одну за одной самые разные книги. Школа закрылась, снаряды падали градом. В подвалах чудовищно скучно. Поначалу я больше всего беспокоился о том, как справиться со скукой и что бы еще почитать ^[9], — хотя читать только потому, что больше просто делать нечего, далеко не так приятно, как читать, когда к этому расположен. Я хотел стать философом (я и сейчас этого хочу), поэтому решил для начала под завязку накачать себя чужими идеями. Обстоятельства побуждали меня к изучению теоретических и общих работ о природе войн и конфликтов; я пытался проникнуть в нутро Истории, понять механизм той гигантской машины, которая генерирует события.

Как ни странно, книгу, которая на меня сильно повлияла, написал не какой-нибудь там мыслитель, а журналист. Это был "Берлинский дневник. Записки иностранного корреспондента, 1934-1941 Уильяма Ширера. Ширер был радиокорреспондентом, автором на шумевшей книги "Взлет и падение Третьего рейха". "Записки" поразили меня необычным взглядом на вещи. К тому времени я уже читал труды (или о трудах) Гегеля, Маркса, Тойнби, Арона и Фихте о философии истории и ее свойствах; мне казалось, что я худо-бедно представляю себе, что такое диалектика. Понял я немного — разве что то, что у истории есть некоторая логика и что развитие идет через отрицание (или противопоставление) так, что человечество постепенно идет ко все более высоким формам общественного развития — что-то в этом роде. Это все ужасно напоминало разглагольствования о ливанской войне. Когда мне задают дурацкий вопрос, какие книги "сформировали мое мышление", я до сих пор удивляю людей, говоря, что эта книга (нечаянно) научила меня главному из того, что я знаю о философии и теоретической истории — и, как мы увидим в дальнейшем, о науке тоже, поскольку я уяснил себе разницу между прямым и обратным процессом.

Как? Очень просто: дневник описывал события *в их течении*, а не задним числом. Я торчал в подвале, и история оглушительно гроыхала над моей головой (артобстрел не давал мне спать по ночам). Я, подросток, ходил на похороны одноклассников. История не в теории проезжалась по моей шкуре, и читал я про человека, который явно переживал историю, находясь в ее гуще. Я пытался представить себе картину будущего и понимал, что она неясна. И еще я понимал, что, если когда-нибудь захочу написать о событиях тех дней, они предстанут более... *историческими*. Между *до* и *после* лежала пропасть.

Ширер сознательно писал свой дневник, еще не зная, что произойдет потом, — когда информация, доступная ему, не была искажена последствиями. Некоторые комментарии были весьма познавательными, особенно те, что иллюстрировали уверенность французов в недолговечности власти Гитлера, — отсюда их неподготовленность и скорая капитуляция. Никто не догадывался о масштабах грядущей катастрофы.

Память у нас крайне нестойкая, но дневник фиксирует реальные факты, которые заносятся на бумагу по более или менее свежим следам. Он позволяет зафиксировать непосредственное впечатление и позже изучить события в их собственном контексте. Повторю, что важнее всего — сознательно выбранный способ описания события. Не исключено, что Ширер и его редакторы могли и схитрить, потому что книга была опубликована в 1941 году, а издатели, как мне говорили, имеют обыкновение приспособливать тексты к вкусам массового читателя,

вместо того чтобы точно воспроизводить мысли автора, свободные от ретроспективных искажений. (В сущности, редакторская правка может очень сильно исказить картину, особенно когда автору достается так называемый "хороший редактор".) Тем не менее знакомство с книгой Ширера дало мне интуитивное понимание механизмов истории. Ведь накануне Второй мировой войны в воздухе, казалось бы, должно было висеть предчувствие грандиозной катастрофы. И ничего подобного!^[10]

Дневник Ширера оказался тренингом по динамике неопределенности. Я хотел стать философом, не представляя себе, чем зарабатывают на жизнь современные философы. Поэтому я пустился в авантюру (вернее, в авантюрные эксперименты с неопределенностью) и принялся штудировать математику и другие науки.

Образование в такси

Третий элемент триады — проклятие обучения — я представлю следующим образом. Я внимательно наблюдал за своим дедом, который занимал посты министра обороны, потом министра внутренних дел и в начале войны, перед закатом своей политической карьеры, вице-премьера. Несмотря на свое положение, он не больше знал о том, что произойдет, чем его водитель Михаил. Однако, в отличие от деда, Михаил все свои прогнозы сводил к словам: "Одному Богу известно", признавая тем самым, что *понимание* — прерогатива высшей инстанции.

По моим наблюдениям, очень умные и образованные люди строили прогнозы ничуть не лучше таксистов, но с одной принципиальной разницей. Таксисты не воображали, будто понимают столько же, сколько интеллигенты, и на роль экспертов не претендовали. Никто ничего не знал, но специалистам мнилось, будто они знают больше других, поскольку само собой разумеется, что специалист всегда образованнее неспециалиста.

Дело не только в знании; информация тоже может быть сомнительным преимуществом. Я заметил, что почти все были в курсе мельчайших подробностей происходящего. Газеты до такой степени дублировали друг друга, что чем больше ты читал, тем меньше получал информации. Но люди так боялись упустить какой-нибудь новый факт, что прочитывали каждый свежий номер, слушали каждую радиостанцию, словно ожидая великого откровения от очередной сводки новостей. Они превратились в ходячие энциклопедии, напичканные сведениями о том, кто с кем встречался и что один политик сказал другому (и даже с каким выражением: "Не кажется ли вам, что он несколько сбавил тон?"). И все без толку.

БЛОКИ

Во время ливанской войны я также заметил, что журналисты имеют тенденцию группироваться, причем не столько вокруг одинаковых мнений, сколько вокруг одинаковых методик анализа. Они придают значение одним и тем же наборам обстоятельств и подразделяют реальность на одинаковые категории (опять проявление платонизма, потребности разложить все по полочкам). Эту умственную заразу усугубило то, что Роберт Фиск называет "гостиничной журналистикой". Если в прежней журналистике Ливан был частью Леванта, то есть Восточного Средиземноморья, то теперь он внезапно стал частью Ближнего Востока, как будто кто-то умудрился перенести его поближе к пескам Саудовской Аравии. Остров Кипр, расположенный примерно в шестидесяти милях от моей деревни на севере Ливана, с почти

идентичной кухней, верой и обычаями, внезапно сделался частью Европы (конечно, местные жители с обеих сторон подверглись соответствующей психологической обработке). Прежде черта проводилась между Средиземноморьем и не-Средиземноморьем (то есть между оливковым и сливочным маслом), а в 1970-е годы она вдруг разделила мир на Европу и не-Европу. Поскольку границу между ними обозначил ислам, никто не знал, куда отнести арабов христианского (и иудейского) вероисповедания. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключаящее зыбкость границ — не говоря уже о пересмотре самих категорий. И всему виной была заразность заболевания. Если бы вы нашли сотню независимо мыслящих журналистов, способных оценивать ситуацию самостоятельно, вы бы получили сотню разных мнений. Но, поскольку в своих донесениях репортеры вынуждены были идти "ноздря в ноздрю", диапазон мнений сильно сужался — все начинали мыслить в унисон.

Если вы хотите понять мою мысль об условности категорий, взгляните на ситуацию с поляризованной политикой. В следующий раз, когда прилетят марсиане, попробуйте объяснить им, почему сторонники уничтожения плода в материнской утробе вместе с тем являются противниками смертной казни. Или почему принято считать, что защитники абортотворцев выступают за повышение налогов, но против сильной армии. Почему поборники сексуальной свободы обязательно должны быть врагами индивидуальной экономической свободы?

Я обратил внимание на абсурдность таких связок-блоков еще в юности. По иронии судьбы, в той гражданской войне в Ливане христиане оказались сторонниками свободного рынка и капитализма (то есть теми, кого журналисты называют "правыми") — а исламисты превратились в социалистов и получали поддержку от коммунистических режимов ("Правда", орган коммунистической партии, называла их "борцами за свободу", хотя позже, когда русские вторглись в Афганистан, уже американцы искали контактов с Бен Ладеном и его мусульманскими братьями).

Лучший способ доказать случайный и эпидемиологический характер этой категоризации — вспомнить, как часто переформировывались такие блоки. Сегодняшний альянс между христианскими фундаменталистами и израильским лобби, безусловно, поставил бы в тупик интеллектуала XIX столетия: христиане были антисемитами, а мусульмане — защитниками евреев, которых они предпочитали христианам. Либертарианцы когда-то считались левыми. Мне, как "сюрпризведу", интересно то, что некое случайное событие заставляет одну группу, изначально стоящую на определенной позиции, вступить в альянс с другой группой, занимающей другую позицию, смешивая и объединяя тем самым две позиции... до неожиданного разрыва.

Категоризация всегда упрощает реальность. Это работа генератора Черных лебедей — неодолимого платонизма, которому я дал определение в Прологе. Любое сужение окружающего нас мира может привести к взрывоопасным последствиям, потому что оно исключает из картины некоторые источники неопределенности и принуждает нас неверно интерпретировать ткань, из которой соткан мир. Например, вы можете считать, что радикальный ислам (и исламские ценности) — ваш союзник в борьбе с коммунистической угрозой, и помогать ему развиваться, пока исламисты не пошлют два самолета на деловой центр Манхэттена.

Через несколько лет после начала ливанской войны меня, двадцатидвухлетнего учащегося Уортонской школы экономики, посетила мысль об "эффективных рынках" — мысль, заключавшаяся в том, что невозможно извлекать прибыль из находящихся в обращении ценных бумаг, поскольку это инструменты, автоматически инкорпорирующие всю доступную информацию. Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже "включают" всю подобную информацию; то, что

известно миллионам, не дает вам реального преимущества. Кто-нибудь из сотен миллионов потребителей новостей, скорее всего, уже купил заинтересовавшие вас бумаги и тем самым поднял цену. Поняв это, я полностью отказался от газет и от телевизора, что сэкономило мне массу времени (скажем, час в день — вполне достаточно, чтобы читать около ста дополнительных книг в год, а со временем даже больше). Поначалу это был отличный предлог не следить за скучными буднями делового мира — топорного, унылого, помпезного, жадного, серого, эгоистичного и занудного.

ГДЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ?

Каким образом человека, мечтавшего стать "философом" или "исследователем философии истории", занесло в бизнес-школу, причем в такую, как Уортон, мне по сей день неясно. Там я осознал, что не только второстепенный политик в маленькой древней стране (и его философствующий водитель Михаил) не знает, что происходит на свете. В конце концов, люди в маленьких странах и должны *не знать*, что происходит. Увидел я вот что: в одной из самых престижных бизнес-школ мира, в самой могущественной в истории человечества стране, топ-менеджеры самых влиятельных корпораций рассказывают нам, как они зарабатывают деньги, а сами тоже, наверно, понятия не имеют о том, что происходит. На самом деле для меня это "наверно" граничило с "наверняка". Я ощущал хребтом бремя эпистемологической самоуверенности рода человеческого^[11].

Это был период настоящей одержимости. Я начал осознавать, что меня будет занимать в жизни: *невероятное событие с серьезными последствиями*. Концентрация везения вводила в заблуждение не только этих лощенных, заряженных тестостероном менеджеров корпораций, но и очень образованных людей. Понимание этого превратило моего Черного лебедя из проблемы удачливых и неудачливых бизнесменов в проблему знания и науки. Моя идея заключается в том, что некоторые научные построения не только бесполезны в реальной жизни (потому что они умаляют роль маловероятных явлений, то есть заставляют нас их игнорировать), но во многих случаях могут еще и порождать Черных лебедей. Это не просто классификационные ошибки, из-за которых вы завалились на экзамене по орнитологии. Я начал проникаться значимостью своей идеи.

С ВРЕМЕННОЙ НАДБАВКОЙ В 8 3/4 ФУНТА

19 октября 1987 года, по истечении четырех лет после окончания Уортона (и с весовой надбавкой в 8 3/4 фунта), я возвращался домой из офиса инвестиционного банка "Кредит Сюисс Фёрст Бостон" на Манхэттене к себе, в верхний Ист-Сайд. Я шел медленно, потому что голова у меня кипела.

В тот день я стал свидетелем тяжелейшего финансового потрясения: крупнейшего обвала рынков в (современной) истории. Оно было тем более болезненным, что пришлось на время, когда мы обрели уверенность в способности всех этих платонизирующих экономистов-краснобаев (с их бесполезными "гауссовыми кривыми") предотвращать — или хотя бы предсказывать и контролировать кризисы. Обвал даже не был реакцией на какие-то конкретные новости. Накануне ничто не указывало на его вероятность — если бы я напроорочил что-то подобное, меня бы сочли ненормальным. Это был типичный Черный лебедь, хотя тогда я еще не придумал ему названия.

На Парк-авеню я встретил коллегу, Деметрия, но стоило нам обменяться парой слов, как в наш разговор, не думая о приличиях, вмешалась взволнованная женщина: "Послушайте, вы, случайно, не знаете, что происходит?" У людей вокруг был абсолютно ошарашенный вид. Чуть раньше я видел, как несколько солидных мужчин тихо плакали в трейдинг-зале банка "Фёрст Бостон". Я провел день в эпицентре событий; оглушенные люди метались, как кролики в свете фар. Когда я вернулся домой, позвонил мой кузен Алексис и сказал, что его сосед покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры. Происходящее даже не казалось бредом. Это было подобие Ливана, только перевернутое: пережив и то и другое, я с изумлением обнаружил, что финансовые неприятности могут деморализовать сильнее, чем война (вдумайтесь в то, что финансовые потери и сопутствующее унижение могут приводить к самоубийству, а война, насколько мне известно, нет).

Меня путала пиррова победа: восторжествовав интеллектуально, я боялся, что окажусь чересчур прав и что система рухнет у меня под ногами. Мне не хотелось, чтобы мои предположения подтвердились настолько. Я всегда буду помнить покойного Джимми П., который следил за тем, как тает его капитал, и полушутя умолял цену на экране замереть на месте.

Но в тот момент я осознал, что мне наплевать на деньги. Я испытал страннейшее чувство — ничего более странного мне испытывать в жизни не приходилось, — оглушительный трубный звук возвестил мне, что я был прав, да так громко, что у меня завибрировали суставы. Это было физическое ощущение, ни разу с тех пор не повторявшееся, — некая смесь радости, гордости и ужаса.

Я восторжествовал? В каком смысле?

В первые годы обучения в Уортоне мои интересы приобрели очень четкую, но необычную направленность: я обдумывал, как получать прибыль, делая ставку на редкие и неожиданные события, которые берут начало в платонической складке и относятся "экспертами"-платониками к разряду "невероятных". Напомню, что платоническая складка — это то место, где наше представление о мире перестает соответствовать реальности, о чем мы не ведаем.

Дело в том, что я рано начал зарабатывать на жизнь с помощью "финансовой инженерии". Я стал одновременно квант-инженером и трейдером. Квант-инженер — это ученый-технолог, применяющий математические модели неопределенности к финансовым (или социально-экономическим) данным и сложным финансовым инструментам. Правда, я был квант-инженером наоборот: я изучал изъяны и пределы этих моделей в поисках платонической складки, где они перестают работать. Я также занимался реальным трейдингом, а не "просто болтовней", что не характерно для квант-инженеров, потому что им не позволено рисковать; их задача — анализ, а не принятие решений. Я был уверен в своей полной неспособности предсказывать поведение рыночных цен, но и в неспособности других (хотя и не догадывающихся о том, чем они рискуют) — тоже. Большинство трейдеров просто "выхватывают центры из-под движущегося катка" с опасностью быть раздавленными неожиданным катаклизмом, но спят сном младенцев, ни о чем таком не подозревая. Я занимался той единственной работой, которой мог заниматься человек, ненавидевший риск, чувствующий риск и ни черта не смысливший.

Между тем технический багаж квант-инженера (смесь прикладной математики, инженерии и статистики), в придачу к активной практике, оказался очень полезным для того, кто задумал сделаться философом^[12]. Во-первых, когда на протяжении пары десятков лет подвергаешь эмпирическому анализу широкий спектр данных и на основании этого анализа принимаешь рискованные решения, то без труда замечаешь в структуре мира те элементы, которых не видит платонизирующий "мыслитель", чересчур замороженный и запуганный. Во-вторых, учишься